В ОЖИДАНИИ ПРИЗРАКА СЧАСТЬЯ

Посвящается 100-летию
со дня рождения Бетти Исаевны Шмерлинг –
последней, кто носил эту звучную родовую фамилию

И в беде, и в радости, и в горе,
Только чуточку прищурь глаза –
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

Павел Коган, «Бригантина»[1], 1937

Моя мама Бетти, с душой поэтической и романтичной, не раз в своей жизни, особенно – в беде и в горе, которых было немерено, прищуривала глаза, чтобы увидеть «в дальнем синем море» хотя бы призрак счастья, какой-нибудь фантом другой жизни, что-нибудь из фантастической страны Александра Грина. Но, увы, никакой сколь угодно сильный прищур не мог превратить обывательскую грязь, несправедливость и жестокость окружающего мира в «бригантину, поднимающую паруса».

Рассказывать о маме труднее, чем о других родственниках – совсем отсутствует необходимая для легкого пера некоторая минимальная отстраненность от субъекта повествования, плохо работает боковое зрение. Мама была очень близким мне человеком, но должен признаться, что многое в ее натуре осталось для меня загадкой. Другие, не столь близкие родственники кажутся мне прозрачными и ясными даже со всеми их проблемами и противоречиями, а мама – нет... Она всегда носила в себе какую-то тайну, и противоречивость некоторых черт ее характера осталась необъясненной... Мама любила и почитала своих родителей и родственников старшего поколения, но избегала рассказывать о них и в глухие советские времена, и потом – когда запреты на прошлое были сняты. Мама никогда не скрывала свое еврейское происхождение, она демонстративно оставила себе еврейскую фамилию «Шмерлинг», хотя могла взять вполне русскую фамилию своего мужа «Окунева», но при этом, честно говоря, не очень жаловала все еврейское. Она прохладно относилась к официальной общественной работе, изощренно отклоняла попытки втянуть ее в компартию, но по своим убеждениям была коммунисткой больше, чем многие члены партии. Мама была человеком тонкой духовной организации, знала толк в музыке и поэзии, но не сумела, как мне казалось, распознать тупую и примитивную сущность советской системы.

[1] Песня «Бригантина поднимает паруса» композитора Георгия Лепского на слова поэта Павла Когана, написанная в 1937 году (!!!), была предтечей всей более поздней советской бардовской песни. С конца 1950-х годов мы пели ее под гитару в туристских походах и на шабашке, у берегов рек и на горных перевалах. Ни один туристский или альпинистский привал с костром под звездным небом не обходился без этой замечательной песни. Немногие знали тогда ее авторов, и почти никто не знал, что студент Литературного института, лейтенант Павел Коган, командир полковой разведки, погиб в 1942 году в бою под Новороссийском, когда ему было всего 24 года. Выжившие в том бою видели, как он шел под пули во весь рост – прищурив свои флибустьерские глаза, шел к парусам своей бригантины.

Вспоминается эпизод из моего детства, вероятно, конца 1940-х годов, когда мне было лет 10–12, который, как мне теперь кажется, раскрывает что-то глубинное в противоречивом характере мамы. Эпизод этот имеет вот какую предысторию.

Мы жили тогда вчетвером – папа, мама, няня-домработница и я – в двух полутемных комнатушках огромной коммунальной квартиры №9 под самой крышей пятиэтажного дома №84 по улице Марата. Эту квартиру я подробно описал для сведения потомков в книжке «*Детство, которого не было*» – не буду повторяться. Так жили тогда почти все ленинградцы за исключением большого начальства и приблатненных. Разрушенный во время немецкой блокады город, в котором погиб почти миллион коренных петербуржцев, заселялся беженцами из разоренных войной, и без того бедных северо-западных областей страны, – их втискивали в полуразрушенные останки бывших монументальных петербургских домов. Что касается меня, то я воспринимал жуткий ленинградский коммунальный быт, как вполне нормальный и даже замечательный, потому что ничего лучше никогда не видел. Мое раннее детство прошло в убогом провинциальном поселке Сорочинск Оренбургской губернии, и единственный на 20 жильцов унитаз со сливным бачком в нашей коммуналке казался мне вершиной бытового комфорта по сравнению с загаженным «очком» сортира во дворе сорочинского дома. Аналогичное почтение вызывала у меня наша «мебель» – старый квадратный стол, видавший виды истертый диван с плешивыми валиками по бокам и железные кровати, оставленные нам в наследство неизвестно куда сгинувшими прежними жильцами – ведь более красивые вещи я видел только в ленинградских музеях и театрах. Иначе это все представлялось маме, ибо она помнила другую жизнь – большой светлый дом, красивую гостиную, где у стены напротив элегантно задрапированного окна стояло темно-золотистое фортепиано с нотами на блестящем резном пюпитре...

Мое и мамино представления о жизне столкнулись, когда родители купили простенький шкаф-сервант с застекленными дверцами наверху. Это был совсем дешевенький неказистый шкафчик, но он был первой мебельной обновкой в моей жизни, и я не удержался от восторженного возгласа: «Какая красивая у нас мебель!». Услышав это, мама сначала громко засмеялась, а потом крепко обняла меня за голову, прижала к себе и... горько разрыдалась, разрыдалась по настоящему, чуть ли не до истерики... Я испуганно прижимался к маме, успокаивал ее – мне было непонятно, почему она плачет, если у нас «такая красивая мебель». Много позже я понял, что в этом внешне незначительном эпизоде в маминой душе столкнулось нечто значительное – ее представление о том, какой должна быть жизнь, с ясным пониманием того, что она на самом деле может дать своему сыну. Те внезапные слезы отражали не только любовь и жалость к ребенку, даже не представляющему, какой должна быть настоящая жизнь, в них выплеснулось все, что пришлось пережить за десять последних лет – войны, постоянный страх за жизнь мужа, эвакуацию, нищенский быт, гибель близких людей... Тот срыв был редким эпизодом, мама была на самом деле жизнелюбивой оптимисткой, она подавила в себе внутреннее неприятие беспросветных тягот советской жизни, отбросила мечты о несбыточном, заставила себя принять жизнь такой, как она есть, собралась и постаралась получать удовольствие от того немногого, что эта жизнь еще оставляла... Постепенно такое отношние к действтельности стало жизненной философией...

Шесть дней в неделю мама еще затемно выходила из дома и на углу Звенигородской улицы, наискосок от нашего дома, втискивалась в битком набитый трамвай, который долго тащился со многими остановками по улице Марата, по

Стремянной и Литейному проспекту, через Неву по Литейному мосту до Финляндского вокзала. Там нужно было сделать пересадку на трамвай до завода «Кинап» на Кондратьевском проспекте Выборгской стороны, где она работала инженером. После работы, тоже в темноте, которая, казалось, не оставляет этот город никогда, она проделывала обратный путь. Работа на заводе и дорога занимали половину суток. За вычетом времени на сон оставалось часа четыре на домашние дела, чтение книг и все прочее. В воскресенье половину дня занимал поход в баню с длинной очередью и неспешной мойкой густейших и длиннющих волос. На все развлечения – кино, театры, музеи, встречи с друзьями и родственниками оставалась вторая половина воскресенья. Были еще летние отпуска с поездками на Карельский перешеек, Рижское взморье, в Новогиреево под Москвой или даже на Черное море.

Каждый рабочий день она дважды пересекала Неву, и в светлое время года через окна трамвая пред ней раскрывалась панорама красивейшего и несчастнейшего города мира. Она убедила себя, что счастлива в этом имперском городе, но она помнила непридуманное счастье детства и юности в провинциальном Витебске, в другие времена и в другой жизни...

***

Бетти Шмерлинг родилась 30 мая 1911 года в зажиточном доме своих родителей Исая и Розы на Задуновской улице в Витебске. В детстве Бетти получила отличное домашнее воспитание, ее учили русскому и французскому языкам и игре на фортепиано. В доме Шмерлингов была неплохая библиотека русской и мировой литературы, и старшая сестра Бетти Ида руководила ее приобщением к чтению: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, а с 13-ти лет – Толстой и даже Достоевский, тогда еще не запрещенный. Послереволюционный Витебский художественный ренессанс Бетти не запомнила – была еще слишком мала, но артистическая аура того времени в доме родителей, безусловно, отразилась на ее музыкальности и поэтичности. Вот что писала об успехах Бетти тех лет ее старшая сестра Ида:

Самые ранние фотографии Бетти (Витебск, 1919–1922 г.г.)

«Бетти была очень интересным и живым ребенком, она прекрасно танцевала, импровизируя под любую музыку (тогда не было ни радио, ни телевизоров). Мы с ней одновременно начали учиться музыке, когда родители

купили пианино. Я старше на 5 лет, но ее успехи были значительно лучше. У нее был абсолютный слух. Она могла, однажды услышав мелодию, без подготовки тут же ее сыграть. А ее склонность к литературе. Ее стихи очень высоко оценивали компетентные люди. И кто бы мог подумать, что из нее получится отличный инженер. Пошла она в технический, потому что мода была такая...»

Счастливые и беззаботные годы детства и отрочества окончились в середине 1920-х годов, наступили тревожные годы юности и молодости, пришедшиеся на время тотальной советской ломки всех социально-общественных отношений. В год ареста отца Бетти было 15 лет, она плохо понимала происходящее, переживала больше за маму и старшую сестру, которые приезжали из Москвы с заплаканными глазами. Отец и раньше часто уезжал из дома по своим служебным делам, а тут уехал куда-то очень далеко (так объясняла мама Роза) на целых 3 года. Роза, Ида, 15-летняя Бетти и 6-летний Марк, привыкшие жить под мощным прикрытием Исая, внезапно остались одни, жизнь посуровела и оскудела. Роза продавала свои украшения, чтобы прокормить детей. Вероятно, именно в то время Бетти достигла того уровня зрелости и самостоятельности, который в иудаизме называют «бат мицва» – «дочь заповеди». Отец Исай, вернувшийся из ссылки в 1928 году, застал ее выросшей и повзрослевшей до неузнаваемости. В 1929 году, восемнадцатилетней девушкой, Бетти навсегда покинула родной дом в Витебске и уехала в Ленинград, где ей суждено было прожить всю жизнь.

Бетти (стоит) в 16 лет в кругу семьи с мамой, сестрой и братом (отец – в ссылке). Витебск, 1927 год.

Вот как она сама описывала свои первые самостоятельные жизненные шаги в официальной автобиографии:

«До 1928 г. училась в школе в г. Витебске. В 1929 г. уехала в Ленинград, где поступила на работу в Центральную детскую библиотеку, работала в библиотеке полтора года. В 1931 г. поступила на завод «Светлана» в качестве работницы осветительного цеха. На заводе работала до 1933 г., одновременно училась на рабфаке. В 1933 году переехала в Москву, где закончила рабфак и поступила в Московский авто-дорожный институт. В 1934 г. я вышла замуж и переехала к мужу

в Ленинград, где поступила на 2-ой курс Ленинградского института киноинженеров.»

Сухие строки автобиографии нуждаются в некоторых комментариях. Бетти приехала в Ленинград из Витебска с намерением получить высшее образование. Это, однако, оказалось невозможным – для поступления в ленинградский ВУЗ требовалось либо пролетарское происхождение, либо, по крайней мере, четырехлетний рабочий стаж. Поскольку пролетарское происхождение отсутствовало, она нанялась работницей на завод «Светлана», где проработала до 1933 года. С заработанным на заводе неполным эквивалентом «пролетарского происхождения» она поехала поступать в институт в Москву, где, по-видимому, допускался меньший, чем в Ленинграде, пролетарский стаж. Проучившись в Москве один год, Бетти вернулась в Ленинград, чтобы уже без сословных помех поступить в Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ), очень модный тогда институт. В том же 1934-ом году она вышла замуж за моего папу Бенциона Окунева, которого, полагаю, интересовало отнюдь не ее социальное происхожение...

В сохранившейся копии «Свидетельства о браке» сказано, что Бенцион Окунев и Бетти Шмерлинг вступили в брак 17 июля 1934 года. Отцу было тогда 25 лет, а маме – 23 года. История знакомства родителей мне не известна, но можно предполагать, что это случилось благодаря пересечению судеб семей Окуневых, Стерниных и Шмерлингов – выходцев из белорусских городов и местечек. Оба старших брата моего папы (Окуневы) были женаты на сестрах мужа (Стернины) старшей сестры моей мамы (Шмерлинги), и это предопределило их встречу. Думаю, что она состоялась в 1932 году в Ленинграде, когда Бетти работала на заводе и училась на рабфаке. Вслед за встречей последовала почти мгновенная вспышка страстной любви – мама и папа были необычайно хороши собой... Сохранилась групповая фотография какой-то вечеринки в декабре 1932 года с их участием, на обороте фотографии рукой мамы написано: «*Я сижу не возле тебя, это для посторонних глаз. Но ведь ты знаешь... это не так для нас. Бетти.*»

Мама была страстной и романтической натурой, в молодости сочиняла неплохие лирические стихи. К сожалению, почти все они утеряны во время войны. Вот отрывки из того, неизвестно когда написанного, что удалось восстановить:

«И сейчас вспоминаю вечер,
Сильных пальцев знакомый охват,
Нашу полную радости встречу,
Твой открытый и ласковый взгляд.

Ты совсем не дал мне опомниться,
Грусть мою отгадав тотчас,
Утопил ее в темном омуте
Дорогих и желанных глаз...

Только слишком стремительно стрелки
Огибали окружность часов,
Видно, сделаны не по мерке
Наших очень значительных слов.

***

Друг от друга коль будем отброшены

Злою волей военных лет,
Я тебя не забуду хорошего,
Хоть к тебе потеряю след.

***

Этот день, один из многих,
На другие не похож,
Блеском солнечной дороги
Был особенно хорош.

Оставляя прочерк четкий,
Мчались мы по склону гор,
Разметая лыжной щеткой
Снежной пелены простор.

Вот сверкнули в смехе зубы.
Хорошо! Мороз крепчал,
И пылающие губы
Крепко ветер целовал.

Ой ли, ветер, ну-ка вспомни,
Не забыла ль рассказать?
Только ль ветер так умеет
На морозе целовать?

***

Ну, конечно, в мире нету
Счастья больше, чем с тобой,
Если солнце незаметно
Обернулося луной.

Бетти Шмерлинг и Бенцион Окунев в год бракосочетания. Ленинград, 1934 год.

Мама и папа, вторая половина 1930-х годов –
мое появление на свет, как видите, неизбежно!

***

Годы расцвета молодости и пылкой любви моих родителей пришлись на вторую половину 1930-х годов, когда сталинский террор достиг своего апогея, косил вокруг родственников старшего поколения, врывался в дома близких и друзей, заставлял всех публично проклинать еще вчера уважаемых людей и прославлять мудрость и гуманность кровавого убийцы. На самом пике этой жуткой вакханалии 31 декабря 1937 года у них родился сын – ваш покорный слуга. Как сильна в человеке жажда жизни и любви, пробивающая любые заслоны, расцветающая даже там, где, казалось бы, ничто живое существовать не может! Мама писала в те годы лирические стихи. Об этой удивительной способности живых существ приспосабливаться к любым условиям и выживать, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, даже при невыносимых обстоятельствах выразительно говорил Лев Толстой в повести «Хаджи Мурат». Писателя поразил увиденный им на обочине сельской дороги кустик из трех полуобломанных цветков:

«Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял, – точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом него».

Так было и с людьми тех времен, когда страну переехало кровавое колесо сталинского террора, когда у страны «*вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз*», а люди не сдавались, сочиняли музыку, писали стихи, влюблялись и... рожали детей.

Полоса Большого террора наступила в год родительского бракосочетания, а именно – 1 декабря 1934 года. В тот день мама с папой, как и все ленинградцы, были потрясены «злодейским убийством» в Смольном Первого секретаря Ленинградского обкома партии и члена Политбюро ЦК ВКП(б) Сергея Мироновича Кирова. Киров пользовался огромной популярностью в партии, многие считали, что он должен сменить Сталина, и Сталин знал, что многие так считали. Вождь тут же примчался в Ленинград (кажется, единственный раз за все время своего правления) – он решил использовать это, по-видимому, спланированное им самим убийство, для развязывания Большого террора. По Ленинграду прокатилась волна арестов и расстрелов под вымышленным предлогом борьбы с троцкистами, которые, якобы, организовали убийство Кирова. Предполагаемого убийцу скоропалительно расстреляли, не дав ему возможности раскрыть все обстоятельства преступления, а вскоре исчезли и участники следствия, и свидетели, вообще – все, кто мог в тот день оказаться вблизи от места убийства. Старший брат отца, Абрам Окунев, работал тогда в Смольном, был одним из референтов Кирова по сельскохозяйственным вопросам, он уцелел благодаря счастливой случайности – в день убийства был в неблизкой командировке и вернулся из нее, когда все было закончено...

Однако другим родственникам родителей повезло в годы террора значительно меньше. В 1937 году был арестован и расстрелян[2] дядя мамы Семен Шмерлинг – профессор Военно-медицинской академии, директор Всесоюзного НИИ охраны труда в Ленинграде. Его жена Ольга также была арестована и сослана на 17 лет в «лагерь для жен врагов народа»[3], а малолетний сын Семена и Ольги Лева был взят в семью Ольгиной сестры (мальчик умер от голода во время Блокады Ленинграда). В том же году в Москве был арестован и расстрелян муж старшей сестры отца – Рахили, она сама также была репрессирована и несколько лет провела в «лагере жен изменников родины» (в печально знаменитом АЛЖИРе в Казахстане), а их малолетняя дочь Наташа была пристроена в семью Абрама Окунева. В 1938 году был арестован и сослан на золотодобывающие прииски в Сибирь другой дядя мамы, Зиновий Зангвиль (Шмерлинг), занимавший крупную номенклатурную должность начальника финансового отдела наркомата Тяжелой промышленности в Москве. Его семья была выселена из квартиры в «Доме на набережной».

Вот под такой «аккомпанемент» протекали «лучшие» молодые годы моих родителей, под этот «аккомпанемент» родился и я.

***

Мама рожала меня в Родильном доме № 6 на улице Маяковского в Ленинграде – в знаменитой Снегиревке. Она была тогда студенткой последнего курса ЛИКИ, из-за

[2] О расстреле арестованных родственники, как правило, не знали; им обычно называли меру наказания – «десять лет без права переписки», что, на самом деле, означало расстрел сразу же после вынесения приговора. Многие годы люди надеялись на возвращение близких, которые давно уже были убиты – преступный сталинский режим порождал особую породу следователей-выродков и палачей-садистов.

[3] В Советском Союзе была создана сеть концлагерей для «жен врагов народа» и «членов семей изменников родины» (в ходу была аббревиатура – ЧСИР), которым вменялось в вину только то, что они были родственниками осужденных людей. Был создан своеобразный, не имевший аналогов в истории, «архипелаг ГУЛАГ для жен врагов народа». Одним из самых больших концлагерей был Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины в Казахстане – знаменитый АЛЖИР.

экзаменов не легла своевременно в больницу, и в родах у нее случилось тяжелое осложнение – эклампсия. Мама рассказывала, что потеряла сознание в 1937 году, а пришла в себя уже в 1938, когда мне было несколько часов от роду. «Если бы не потеря сознания, я бы записала тебя 1938 годом, и ты был бы на год моложе» – шутила она впоследствии.

Бетти с сыном Юрием
Слева: Ленинград, Тверская улица, 1938 год. Справа: Новогиреево, 1940 (Фото отправлено мужу с надписью на обороте: «Боренька, не пугайся, я теперь не такая пузатая. Не разлюби меня, взглянув на эту карточку»)

Из роддома родители забрали меня в свою комнату в коммунальной квартире на Тверской улице, в которой мы жили до июля 1941 года. Тот дом на Тверской не сохранился – он был полностью уничтожен прямым попаданием фашистской авиабомбы во время Блокады Ленинграда. Командование немецких войск, окружавших город в 1941–1944 годах, знало, что где-то в этом районе, в излучине Невы, находится Смольный – центр партийного руководства блокадного Ленинграда. Фашисты пытались найти и ликвидировать Смольный и поэтому ожесточенно бомбили и обстреливали этот район. Разрушить Смольный им так и не удалось – он был надежно упрятан под огромной защитной сеткой, но прилегающие к Смольному районы сильно пострадали. Наш дом располагался на северной, наиболее уязвимой для артобстрелов стороне Тверской улицы, почти в середине квартала между Таврической и Кавалергардской улицами, между сохранившейся до сих пор бывшей старообрядческой церковью Знамения Пресвятой Богородицы и недавно построенным огромным элитным домом с дорогими квартирами и подземным гаражом.

Жизнь родителей была нелегкой в те напряженно-смутные предвоенные годы. Мама окончила Ленинградский институт киноинженеров, получила диплом инженера-электрика в июне 1938 года и по распределению начала работать на заводе Кинап

контролером ОТК (отдел технического контроля); она проработала в этой должности до июля 1941 года. Папа не имел законченного высшего образования, в начале 30-х он проучился 2 года в Коммунистическом институте журналистики, в предвоенные годы подрабатывал журналистом в ленинградских газетах, давая возможность маме окончить институт. В конце концов родители вынуждены были взять для меня няньку.

Василиса Павловна Терешкова приехала в Ленинград, спасаясь от голодной колхозной жизни на Псковщине. Не знаю, как и по чьей рекомендации она появилась в нашей семье. Вероятно, родители взяли ее на временную работу и оформили как домработницу – это давало в те годы право на проживание в городе без права на жилплощадь. Многие деревенские женщины убегали тогда в город и устраивались домработницами и няньками за крышу над головой с пропитанием. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное – Васса стала моей няней на многие годы. Она была с мамой и со мной в эвакуации, она вернулась с нами в Ленинград после войны, она жила с нами и опекала меня почти все школьные годы. Моя няня Василиса отнюдь не была Василисой Прекрасной – приземистая, бесформенная, с большой круглой головой на короткой шее, она, к тому же, имела безобразное бельмо на одном глазу. Тем не менее эта женщина, напрочь обделенная женским обаянием и надеждой на женское счастье, искренне привязалась ко мне и ласково-покровительственно называла меня «малец», не умея иначе выразить свою любовь и нежность.

***

Первого сентября 1939 года началась Вторая мировая война – Гитлер и Сталин приступили к реализации совместных планов раздела Европы. С этого дня и до конца 1945 года, то есть более 6 лет родители были вовлечены в тяжелейшую в истории войну и фактически были разлучены за исключением отрезка времени с середины 1940 года по середину 1941 года.

Уже в сентябре 1939-го отец был призван в армию и отправлен рядовым красноармейцем в 221-й артиллерийский полк 70-й стрелковой дивизии, которая разворачивалась вблизи границы Финляндии, проходившей тогда в районе нынешнего города Сестрорецка на Карельском перешейке. Советское руководство готовило захват Финляндии, отнесенной, согласно секретному дополнительному протоколу к договору 1939 года между Германией и СССР, к «сфере интересов СССР». 30 ноября 1939 года советские войска перешли границу Финляндии на огромном фронте от Балтийского до Баренцова моря. 70-я стрелковая дивизия, где служил отец, входила в состав 7-й армии, на которую возлагалась главная задача войны – прорвать финскую оборонительную Линию Маннергейма на Карельском перешейке, а затем захватить Выборг с дальнейшим выходом в район Хельсинки. Линия Маннергейма представляла собой почти непрерывную цепь железобетонных укреплений и огневых точек, перекрывавших Карельский перешеек от Финского залива до Ладожского озера южнее Выборга. 7-я армия вышла к ней с большими потерями 10 декабря, а генеральное наступление на финские позиции начала 17 декабря. Несколько дней продолжалась кровавая схватка, но советским войскам не удалось сломить сопротивление финнов и прорвать Линию Маннергейма. Положив на поле боя десятки тысяч солдат, Красная Армия была вынуждена временно отступить – она показала свою неспособность к современной войне даже при подавляющем превосходстве в военной силе. Разгром и физическая ликвидация командного состава Красной Армии в 1937 году давали свои первые плоды. В декабре 1939 года СССР был исключён из Лиги наций за развязывание войны против нейтральной Финляндии, но Сталин закусил удила –

он не мог пережить поражения от бывшей глухой провинции Российской империи. В январе 1940 года на Карельском перешейке началось формирование чудовищной по огневой мощи группировки войск – к прежней 7-ой армии, расширенной до 12 стрелковых дивизий, добавили новую 13-ю армию из 9 стрелковых дивизий. 4 февраля 1940 года советская авиация провела массированную бомбардировку Хельсинки, 11 февраля после убойной многодневной артподготовки началось новое наступление 7-й армии на Линию Маннергейма. Заваливая финские доты телами солдат, войска 7-й армии прорвали первую полосу обороны и ввели в прорыв мощные танковые соединения. 21 февраля 7-я армия вышла ко второй полосе финской обороны. Финны оказывали ожесточённое сопротивление, но вынуждены были отступать. 13 марта войска 7-й армии захватили Выборг. В тот же день было подписано соглашение об окончании войны.

Суровый и кровавый путь 7-й советской армии от Ленинграда до Выборга – это путь по дорогам войны моего отца, рядового солдата 221-го артиллерийского полка 70-й стрелковой дивизии этой армии. Я не скрываю своей оценки: в 1939–1940 годах мой отец участвовал в несправедливой войне против небольшой страны и ее свободолюбивого народа. Он – рядовой красноармеец – не мог, конечно, нести ответственность за это, он честно выполнял свой тяжелый солдатский долг. Советские армии понесли огромные потери за 105 дней войны с Финляндией. Точных цифр не опубликовано до сих пор, но по оценкам независимых историков было убито и умерло от ран 125 тысяч человек (в среднем более 1000 человек в день!), было ранено, обморожено или контужено 250 тысяч человек. Мой отец, к счастью, не был даже ранен в той 105-дневной кампании зимы 1939–1940 года. То ли волею обстоятельств, то ли игрой судьбы, но он вынужден будет через 4 года еще раз пройти путь от Ленинграда до Выборга, теперь уже в офицерском звании...

В июне 1940 года отец был уволен в запас и вернулся домой, ему нужно было срочно устраиваться на работу – маминой инженерской зарплаты на жизнь семьи не хватало...

***

Жизнь Бетти в предвоенные годы определялась тремя факторами – рождением сына, окончанием института и началом работы в качестве инженера, и мобилизацией мужа в Красную Армию. Жизнь эта была нелегкой и тревожной...

Советским людям, да и что греха таить – нынешним россиянам тоже, вдалбливали и вдалбливают в голову благостную картинку счастливой мирной жизни народа до 22 июня 1941-го года. В «исторических» описаниях и «мемуарах», в «документальных» телепередачах, в многочисленных кинофильмах счастливые, упитанные и хорошо одетые советские люди с энтузиазмом работают на мирных полях, заводах и стройках, полноценно отдыхают и развлекаются, а единственной их проблемой иногда (иногда!) является неразделенная любовь – эту пасторально-лубочную картинку мирной (мирной!) жизни внезапно (никто и подумать не мог!) разрушает злобный и до зубов вооруженный враг, коварно напавший на «мирно спящие аэродромы»[4]. Такой пропагандистский бред уже, кажется, генетически закреплен в массовом сознании, но, на самом деле, все было не так...

Первое – Большой террор 1937 года продолжался все предвоенные годы, он не ослабевал ни в 1938 году, ни в 1939-м, ни в 1940-м, ни в 1941-м, он не закончился и после

[4] Заголовок книги М. Солонина «На мирно спящих аэродромах», «ЯУЗА-ЭКСМО», Москва 2009. В этой книге доказывается полная несостоятельность советских мифов о причинах разгрома 1941 года.

нападения Германии. Хрестоматийные примеры: в 1938 году расстреляны разработчики легендарной «Катюши», руководители Московского Реактивного НИИ И.Клейменов и Г.Лангемак, в следующем 1939 году созданы специальные тюремные конструкторские организации – «шарашки», куда на правах зэков были согнаны лучшие специалисты, например, авиаконструктор А.Туполев и будущие руководители советского ракетостроения В.Глушко и С.Королев, в 1940 году расстреляны писатель И.Бабель, журналист М.Кольцов и режиссер В.Мейерхольд, в 1941 году расстреляны Герои Советского Союза, генерал-лейтенанты авиации Я.Смушкевич и П.Рычагов. В 1939–1941 годы продолжались репрессии против командного состава Красной Армии, проводились массовые репрессии и депортации в Сибирь населения захваченных Советским Союзом территорий Польши и Прибалтики.

Второе – Советский Союз в «предвоенный период» участвовал во Второй мировой войне (фактически – на стороне Германии): 17 сентября 1939 года – нападение на Польшу и захват восточных областей этого государства с присоединением их к Украине и Белоруссии, варварский внесудебный расстрел тысяч интернированных польских офицеров в Катыни и других лагерях; с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года – нападение на Финляндию, Советско-Финская война, захват Карельского перешейка, северного берега Ладожского озера и ряда территорий в Северной Карелии и Заполярье; июнь 1940 года – оккупация Литвы, Латвии и Эстонии, эта операция советских войск проводилась практически параллельно с захватом вермахтом Франции.

Третье – в предвоенные годы режим ужесточал условия жизни и работы людей, в июне 1940-го года власти увеличили на 6 часов продолжительность шестидневной рабочей недели без увеличения зарплаты, одновременно был запрещен переход трудящихся с одного места работы на другое без разрешения начальства[5] – в стране под видом «социализма» фактически завершилось устанавление феодально-крепостнического общественного строя при неограниченной единоличной тирании вождя.

Все три названных фактора определенно и существенно сказывались на жизни моей мамы Бетти, хотя, конечно же, и она, и отец не могли в то время знать и понимать всю подоплеку происходящего. Родители, безусловно, были напуганы арестами ближайших родственников в 1937–1938 годах. Верили ли они в их виновность? По-видимому, верили, ибо повсюду и все говорили, что наши «славные органы понапрасну никого не сажают», да и легче как-то было поверить в виновность осужденных, чем в их невиновность, ведь это означало: не виноват – не будешь арестован. Именно в те предвоенные годы в маминой душе поселился навечно страх перед всесильном драконом, имена репрессированных родственников были стерты из памяти, и даже многие годы спустя, когда дракон уже издох, эти имена вспоминались с оглядкой по сторонам. Что касается слов о «мирной жизни», то Бетти уже тогда имела возможность сопоставить их с реальностью: ее муж был на фронте и, хотя она не могла знать, в какую кровавую бойню превратило эту войну бездарное советское командование, но она понимала, что на Карельском перешейке идут затяжные тяжелые бои... Было страшно получать почту... Было страшно слушать радио и читать газеты... Все обрушилось на нее сразу – новая незнакомая работа на заводе, забота о маленьком сыне, мобилизация мужа в армию, домашняя неустроенность...

[5] Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года.

Только молодость и природный оптимизм помогли маме справиться с тем вызовом судьбы. На сохранившихся снимках предвоенных лет Бетти – молодая, смеющаяся, радующаяся жизни женщина, ведь фотографии не делаются в горестные моменты, когда рыдания перхватывают горло...

Летом 1940-го года мой отец вернулся с Финской войны, родители взяли меня и уехали к старшей сестре мамы Иде Стерниной в Новогиреево под Москвой. Это был их последний совместный отпуск перед Великой Отечественной войной, которая разразилась через год. Впереди были новые, несравненно более тяжелые испытания...

***

В 3 часа ночи 22 июня 1941 года неподалеку от нашего дома на Тверской, в Смольном – резиденции Ленинградского партийно-государственного руководства, началось экстренное секретное совещание членов горкома и обкома партии и секретарей райкомов партии. Секретарь ЦК ВКП(б) и партийный вождь Ленинграда Андрей Жданов зачитал полученную из Генштаба Красной Армии шифрограмму: «… в течение 22–23 июня возможно нападение немецко-фашистских войск на территорию ряда приграничных округов, в том числе Ленинградский округ».

Два с половиной миллиона жителей города досыпали свою последнюю ночь перед катастрофой, после которой их останется чуть больше полумиллиона. На набережных Невы, у вздыбленных на фоне светлого неба мостов прощались со своей юностью выпускники ленинградских школ – в этот час командование Балтийского флота объявило «угрожаемое положение», погасли маяки, корабли перекрыли проходы к Кронштадту, в воздух поднялись дежурные истребители, встали на вахту зенитные расчеты…

В первые дни войны ленинградцы, обманутые бесчестной сталинской пропагандой, полагали, что серьезные неприятности им не грозят – ведь до Западной границы не менее 750 км. От границы до Даугавпилса – 250 км, от Даугавпилса до Пскова – тоже 250 км, от Пскова до Ленинграда – еще 250 км. Не смогут немцы пройти такой невероятно длинный путь – Красная Армия прежде разобьет их. Так, по-видимому, считали поначалу и в нашей семье. Однако уже 26 июня ударные танковые группировки немцев достигли берегов Западной Двины и захватили Даугавпилс, 28 июня немцы вошли в разрушенную дотла, объятую огнем пожарищ столицу Белоруссии Минск, а 9 июля, на семнадцатый день войны, с ходу взяли Псков. После падения Пскова, наконец-то, всем стало ясно – еще через две недели фашисты будут под Ленинградом. Красная Армия не просто отступала, она была окружена и разгромлена, а оставшиеся боеспособные части беспорядочно отходили в глубь страны. Восьмая армия Северо-Западного фронта была полностью дезорганизована, сдала Псков практически без боя и, потеряв связь с другими войсками, отходила на север к Ленинграду. После молниеносного захвата Пскова немцы повернули танки на север и, почти не встречая сопротивления, 12-го июля подошли к Лужскому оборонительному ребежу – до Ленинграда оставалось 100 км по прямой. Казалось, никто и ничто не сможет задержать фашистскую Группу армий «Север», и немецкие генералы, вполне уверенные в этом, начали составлять список приглашенных на банкет в ресторане «Астория». Однако с банкетом пришлось повременить, ибо пружина внезапно перестала сжиматься – на Лужском рубеже немцы встретили такое стойкое и отчаянное сопротивление плохо организованной смеси остатков кадровой Красной Армии и ополченцев, что застряли на нем, неся при этом огромные потери, почти на месяц.

На том страшном Лужском рубеже погиб рядовой красноармеец-ополченец, старший брат моего отца – 39-летний Пиня Окунев. Погиб неизвестно где, неизвестно когда – не было у оставшихся в живых возможности разбираться с убитыми, потому что немецкие танки разметали их, неумелых и необученных, так что нельзя было уже понять, кто мертвый, а кто еще живой. Второй брат отца – 37-летний Абрам Окунев в звании капитана был назначен комиссаром стрелкового батальона в Кировскую дивизию народного ополчения. В начале августа эта добровольческая дивизия была переброшена на Лужский оборонительный рубеж, а 18 августа в тяжелом бою у поселка Батецкий капитан Окунев, поднимая бойцов в атаку, был тяжело ранен в грудь и руку и вывезен в тыловой госпиталь. Рассказывали, что его спас металлический наконечник авторучки, лежавшей в нагрудном кармане – пуля отклонилась, изранила руку, но оставила Абраму жизнь. Отца в дни Лужской битвы держали в запасе; его, как и многих других участников Финской войны, готовили к худшему развитию событий – подпольному сопротивлению в захваченном фашистами Ленинграде.

В те трудные дни июля 1941 года мои родители приняли решение – немедленно эвакуировать меня с мамой и няней из Ленинграда. Времени было в обрез, немцы уже перерезали железные дороги с Балтийского и Витебского вокзалов. Финские войска выходили к своей старой границе у Сестрорецка, блокируя город с севера. Единственная еще свободная ниточка тянулась на восток с Московского вокзала. Тем не менее чтобы покинуть город, следовало получить специальное разрешение. Это разрешение имело в народе длинное неприятное название, словно сама обездоленность на костылях, завернутая во вшивое тряпье, – «эвакоудостоверение»:

РСФСР	**У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е**
Смольнинский	**Предъявитель настоящего удостоверения**
Районный Совет	***гр. Шмерлинг Бетти Исаевна***
Депутатов Трудящихся	**с членами семьи:**
----------	***Сын Окунев Юрий – три с половиной года***
г. Ленинград	**эвакуированы из гор. Ленинграда**

Исполнительный Комитет	
Районная Эвакокомиссия	**« 15 » июля 1941 г.**
М.П. Председатель эвакокомиссии	

Не знаю точно, какого числа началось наше скитание, длившееся почти четыре года. Мы ехали по бедному северу России, несшему к тому же непомерные тяготы войны – миллионы беженцев двигались на восток, оседая в его городках. Наш путь пролегал через Мгу, Волхов, Тихвин, Пикалево, Бабаево, Череповец и Вологду до маленького города с прелестным названием Галич, что в Костромской губернии на берегу Галичского озера. В Галиче, в местной школе, оборудованной под жилье для эвакуированных ленинградцев, мы пробыли до осени 1941 года.

***

В дни нашего пребывания в тихом Галиче события под Ленинградом развивались трагически. В августе 1941 года фашисты, подтянув три свежие танковые дивизии, в стремительной фронтальной атаке, все же взломали Лужский оборонительный рубеж, окружили и уничтожили Лужскую группировку советских войск и устремились к

Ленинграду. Группа армий «Север» охватывала город широким кольцом со стороны Луги и Новгорода. Из города усиленно вывозились остатки военной промышленности и продовольствия. По улицам летал бумажный пепел – власти приказали жечь архивы. Немцы готовились к захвату города, советские власти – к его сдаче. Положение советских войск значительно ухудшилось после взятия фашистами в последние дни августа города Таллина и страшного разгрома Балтийского флота во время бездарно спланированного, трагического перехода кораблей с войсками и ранеными из Таллина в Кронштадт. Теперь вся мощь группы армий «Север» была направлена на захват Ленинграда. Размах и ожесточенность схватки нарастали. Двадцать восьмого августа город потерял последнюю нитку железнодорожной связи со страной – немцы захватили Мгу. Восьмого сентября гитлеровцы замкнули клещи: на западе они вышли на берег Финского залива у Петергофа, а на востоке – на южный берег Невы на всем ее протяжении от Колпино до Шлиссельбурга, что на берегу Ладожского озера. Ленинград потерял сухопутную связь со страной и фактически попал в окружение, которое позже назовут Блокадой. Положение было критическим, немцы со всех сторон озверело рвались в окруженный город.

В окруженном Ленинграде остались мой отец Бенцион, мой дедушка Исаак Окунев, семья (жена Эмма и дочка Сара) погибшего на фронте брата отца Пини Окунева, дядя мамы Максим Шмерлинг с семьей, дядя мамы Шефтель Шмерлинг с семьей, другие близкие родственники. В случае захвата города фашистами им был уготован ленинградский «Бабий Яр» вместе со всеми другими евреями города. В случае незахвата города фашистами их ожидала участь мучеников Ленинградской Блокады – адский кошмар блокадного холода и голода. В те сентябрьские дни, как рассказывали очевидцы, гигантская колонна крыс – предвестница катастрофы – прошла по городу из района Бадаевских складов на север и, перекрыв движение на нескольких улицах, начала растекаться по подвалам и припортовым складам. Ленинградским крысам некуда было бежать с тонущего корабля, и они претерпели весь кошмар голодной блокадной зимы: сначала крысы обгрызали трупы умерших ленинградцев в мрачных, заледенелых квартирах, а затем сами были съедены обезумевшими от голода людьми...

В те сентябрьские дни 1941 года мы с мамой и моей няней покинули город Галич и уехали в далекую Чкаловскую облась, в поселок Сорочинск в приуральских степях, где прожили до весны 1945 года – «пещерный рев» войны загонял нас все дальше и дальше от родного Ленинграда. Долго копался я в старых полуистлевших бумажках, чудом добравшихся с мною в Америку, пока не нашел пожелтевший от времени рукописный документ, подтверждающий это событие:

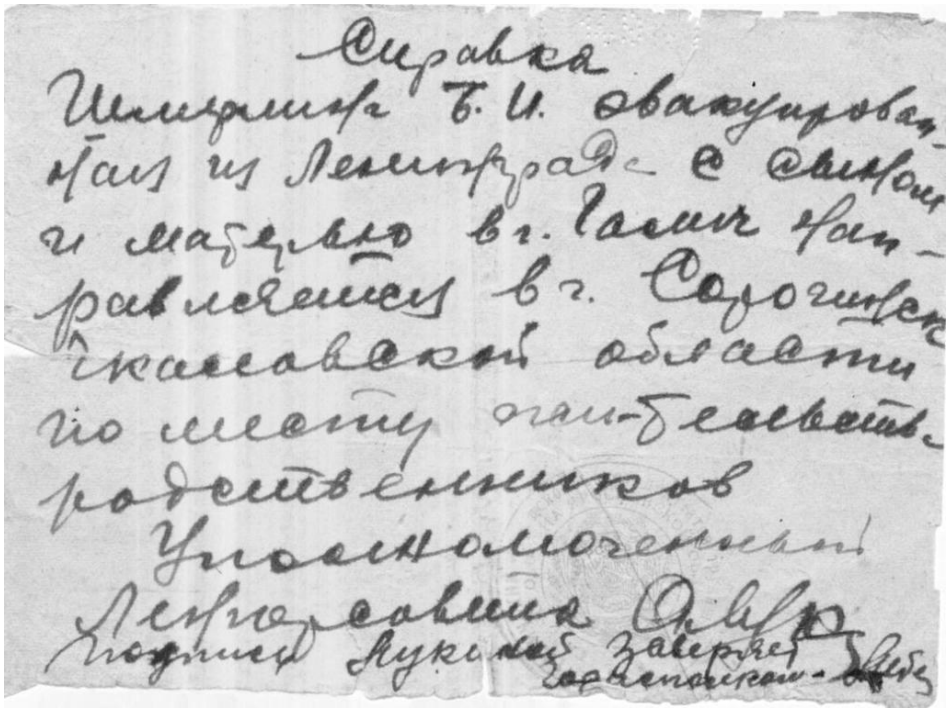
С П Р А В К А

Шмерлинг Б.И., эвакуированная из Ленинграда с сыном и матерью[6] в г. Галич направляется в г. Сорочинск Чкаловской области по месту жительства родственников.

Уполномоченный Ленгорсовета... Подпись (Лукина)
Подпись Лукиной заверяю, Горисполком

Отпустить уезжающим вперед за 6 дней хлеба (шесть дней)
Подпись (неразборчиво) 12/IX–41 г.

[6] Бетти выдавала мою няню Вассу за свою мать, иначе невозможно было оформить ей отъезд .


Справка
Шмерлинг Б. И. эвакуирован-
ная из Ленинграда с сыном
и матерью в г. Галич нап-
равляется в г. Сорочинск
Чкаловской области
по месту жительств-
родственников
Уполномоченный
Ленгорсовета

Из справки следовало, что добираться из Галича в Сорочинск предстояло нам не менее шести дней. Но мы добирались до Сорочинска дольше, ибо остановились по дороге в Свердловске (Екатеринбурге), где учился в военно-воздушной академии брат мамы Марк – вот как об этом вспоминала сестра мамы Дуся в письме ко мне:

«Получилось удивительное совпадение. Марк прислал нам письмо, что он в Академии в Свердловске. В это время ты с мамой и «Василисой прекрасной» (речь идет о Бетти и моей няне Василисе – Ю.О.) ехали из Галича через Свердловск к нам в Сорочинск. Я послала Бетти в Галич адрес нашей двоюродной сестры Симочки, которая жила в Свердловске. Мы долго думали, как написать телеграмму – ведь во время войны нельзя было написать прямым текстом, что такая-то академия в Свердловске, и я написала: «Мара в Свердловске на учебе». И представь себе – Бетти нашла его, она отыскала Академию, пришла туда во время занятий, стала где-то у лестницы, по которой все выходили с занятий, и увидела Мару – можешь представить эту встречу!»

***

Мы с мамой и няней приехали в Сорочинск в то время, когда летняя жара отступала, а холода еще не пришли – лучшее время года в средней России. Нас приняла семья маминой сестры, занимавшая две комнаты в пятикомнатном одноэтажном доме на территории Сорочинского мясокомбината – главного в те годы предприятия города. В

этих двух комнатах прожили мы без малого четыре военных года – грех было бы не попытаться описать это наше пристанище.

Наш дом находился на самом краю мясокомбината, у высокого забора, ограждавшего территорию комбината, считавшегося предприятием оборонного значения. В доме было пять комнат для руководящего состава комбината – в двух комнатах размещалась семья главного инженера, в одной – заведующая химической лабораторией, и в оставшихся двух – семья начальника производственного контроля комбината, каковым был муж маминой сестры Евгений Абрамович. Дом начинался с общей прихожей-кухни, в которой стояли три стола (по столу на семью), где на керосинках готовилась еда и грелась вода для купания детей. В кухне была раковина с водопроводной водой – роскошь по тем временам немыслимая! Правда, слива под раковиной не было, а вместо него стояло ведро для грязной воды – его приходилось выносить во двор вручную. Зимой комнаты отапливались дровяными печками – на этом, к сожалению, все бытовые удобства заканчивались.

В наших двух смежных комнатах постоянно жили 9 человек: семья маминой сестры из четырех человек, наша семья из трех человек и мой дедушка со своей второй женой. В критических ситуациях неожиданного приезда новых родственников народонаселение этих двух комнат доходило до 13 человек.

Перед домом был довольно большой двор, замыкавшийся сараями и деревянными будками сортиров. В сараях жильцы держали керосин и дрова для печек. В стандартной будке деревенского сортира, на некотором возвышении было прорезано круглое отверстие, называвшееся почему-то «очком», через которое открывался «вид» в выгребную яму. Все старались содержать сортиры в чистоте и относительном порядке, но в теплое время года они все равно повонявали. В нашей семье только я, как самый маленький, имел привилегию ходить на горшок в помещении квартиры, все остальные должны были ходить по надобностям во двор. Это не доставляло, мягко говоря, удовольствия, особенно зимой, когда сорочинские морозы достигали –40° по Цельсию – легким усилием воображения можно представить процедуру в целом. При сильных морозах туалетная проблема усложнялась еще из-за намораживания нечистот – легко можно было поскользнуться и угодить в «очко».

Большинству из поколений людей, родившихся после Второй мировой войны, слава Богу, не пришлось жить в таких условиях – они, вероятно, покажутся современным молодым людям чем-то за гранью допустимого. Но поверьте мне – в те далекие годы, когда страна содрогалась в конвульсиях самой жестокой и опустошительной в своей истории войны, когда обезумевшие от голода ленинградцы поедали трупы своих родственников, когда средняя продолжительность жизни бойца Красной Армии на передовой ислислялась несколькими днями, в те страшные годы неслыханных страданий народа жизнь в благополучном тыловом Сорочинске казалась неким приближением к библейским райским кущам.

Приняли нас в Сорочинске с искренней радостью. Бетти абсолютно боготворила свою старшую сестру Иду, сестры были очень близки и по семейной привязанности, и духовно до конца своих дней. Евгений Абрамович попросил директора комбината разрешить нам жить всем вместе в этих же двух комнатах на территории комбината. Директор не только дал такое разрешение, но и предложил маме – дипломированному инженеру – ответственную работу в бухгалтерии. В официальной маминой биографии ее работа в Сорочинске называлась – заведующая оперативным учетом.

***

Сорочинский быт был прост и беден. В то военное время не было выходных или отпусков, и дни проходили с унылой однообразностью, почти не отличаясь друг от друга. По утрам все взрослые наспех завтракали вареной картошкой, кашей или картофельными котлетами на бараньем жиру, пили жидкий чай с сахарином и хлебом и уходили на работу. У мамы в бухгалтерии мясокомбината был полный рабочий день и приличная зарплата. Как правило, в 5 часов она возвращалась домой и только в конце месяца, когда писала отчет, задерживалась допоздна. По вечерам она помогала сестре в домашней работе, занималась со мной.

Единственным культурным развлечением для сорочинцев было кино. Мама ходила в кино с нашей соседкой Калерией – дочерью главного инженера комбината. Каля была высокой блондинкой с изумительной фигурой. Это было незабываемое зрелище, когда две красавицы, принаряженные, приходили к кино: 30-летняя жгучая брюнетка Бетти с длинными блестящими волосами и 25-летняя роскошная блондинка Каля. Особое впечатление парочка производила на курсантов местного военно-авиационного училища. Курсанты быстро настроились на нужную волну и начали провожать красавиц из кино домой – киноклуб находился примерно в полукилометре от Комбината и идти надо было через большое поле, которое, конечно, в темное время не освещалось... Думаю, что одними проводами дело не кончалось... Курсантское счастье длилось, однако, недолго – вскоре они закончили обучение, получили лейтенантские погоны и перед отправкой на фронт пришли к нам прощаться. Курсантам устроили прощальный ужин по высшему разряду, для чего с разрешения директора были выданы кости с мясом. Хорошие, умные, скромные 20-летние ребята уходили из своей несостоявшейся юности в смертельный бой... Выжил ли кто-нибудь? Через 40 лет, в 1984 году, Бетти, бывшая уже дважды бабушкой, узнала, что некоторые ее сорочинские друзья-летчики выжили:

«Здравствуйте, многоуважаемая Бетти!

Письмо Ваше получил. Большое спасибо! Откровенно: терялся в догадках, что могло произойти, почему так долго нет письма, которое я так ждал? Сейчас многое стало понятно из того краткого содержания с экскурсом в тот далекий Сорочинск...

Да, Бетти, времени прошло много, но в памяти сохранилось все то хорошее, что было в нашей (как Вы пишете) чистой дружбе молодого курсанта военно-авиационного училища (к тому же не очень путевого)...

Встретиться с Вами очень хочется! Простите, пожалуйста, за несуразное письмо. Уважаемая и дорогая Бетти, желаю вам доброго здоровья, успехов и удачи.

С искренним уважением и наилучшими воспоминаниями

Павел Зак. 15.6.84. г. Пермь»

Бывший летчик и мамин сорочинский поклонник Павел Зак прошел всю войну, после войны стал музыкантом, преподавал в Пермской консерватории, нашел маму через своих учеников в Ленинграде. Мама встретилась с ним теплой ленинградской осенью 1984 года – ей было уже 73 года. Она готовилась к свиданию со старанием юной влюбленной девушки – долго подкрашивалась, тщательно выбирала шарфик. Вернулась мама со встречи какой-то потерянной, скупо рассказала: «Посидели в кафе на Невском, прогулялись до Невы, домой не пригласила...» Прошлое восхитительно только в

воспоминаниях, там – в голове за седым виском, а попытки вернуть его и прикоснуться к нему оборачиваются жестоким разочарованием, которое не всегда удается скрыть даже потоком неуклюжих комплиментов...

***

Я не доставлял маме в эвакуации особых забот; случались, конечно, отдельные неприятные эпизоды – вот один из них. Как-то сгорел один из сараев на территории сорочинского мясокомбината. Особого ущерба не было, но местные бездельники-чекисты придумали «преднамеренный поджог с целью диверсии против предприятия оборонного значения». Началось следствие, которое немедленно вышло на нашу компанию дошкольных малолеток, которые, болтаясь целыми днями по территории, все видели и все знали. Не исключалось, что малолетки сами устроили поджог либо из хулиганства, в чем был определенный резон, либо по наущению взрослых, в чем был желанный для чекистов разворот. Короче говоря, нас по очереди вызывали к «дяденьке-военному» и спрашивали, кто поджег мясокомбинат. Когда мама пришла с работы, я как раз был на допросе, о чем ей с ужасом доложила няня Васса. Мама побежала в контору, где чекисты проводили расследование, и застала меня дающим «чистосердечные показания» – мне было тогда 5 лет. Как рассказывала впоследствии мама, я стоял в коротких штанишках перед сидящим за столом строгим следователем в военной форме, и, размазывая по лицу слезы и сопли, говорил ему с перерывами на всхлипывания: «Я не поджигал мясокомбинат... (всхлип)... я не поджигал мясокомбинат... (всхлип)...». Мама, не сдержавшись, обругала следователя идиотом и немедленно забрала меня домой – на этом инцидент был исчерпан. Чекистам не удалось выявить вредителей – вся наша компания мальчишек мужественно отрицала свою причастность к поджогу.

Мы с мамой получали редкие письма из Ленинграда – эзоповским языком папа рассказывал о своей жизни в блокадном городе. Я ничего не понимал, но мама мне объяснила – папа проходит курс подготовки младших лейтенантов. Скоро папа станет офицером и его назначат командиром минометного взвода. Папа будет освобождать наш родной город от фашистов, он прорвет Блокаду Ленинграда, он выгонит фашистов, и мы уедем из Сорочинска домой.

***

В январе 1944 года Блокада Ленинграда была снята, и немцев погнали на запад. Отец в это время закончил ускоренные курсы младших лейтенантов и был направлен командиром минометного взвода 340-го полка 46-ой стрелковой дивизии, дислоцированной на Карельском перешейке под Сестрорецком.

После ликвидации блокады Ленинграда советское командование начало готовить удар по финским позициям. Для этого весной 1944 года на Карельском перешейке были развернуты крупные силы Ленинградского фронта: 21-я и 23-я общевойсковые армии, 13 воздушная армия и многочисленные вспомогательные подразделения. 46-я стрелковая дивизия, в которой служил отец, входила в состав 108-го стрелкового корпуса из резерва Ленинградского фронта, переданного 21-й армии в преддверии июньского наступления. 21-я армия была главной ударной силой в знаменитой Выборгской наступательной операции, которая в советской истории ВОВ называлась одним из 10-ти «сталинских ударов» 1944 года, приведших к изгнанию врагов с территории СССР. Задача этой армии состояла в разгроме финских войск в западной части Карельского перешейка, захвате

Выборга и выходе к границе СССР, установленной в советско-финляндской войне 1940 года.

Отцу, теперь уже в офицерском звании, пришлось повторить летом 1944 года вместе с 46-й дивизией тот же путь, который он прошел рядовым солдатом вместе с 70-й дивизией зимой 1939–1940, путь от Сестрорецка до Выборга. Военные действия на Карельском перешейке продолжались и после захвата Выборга. 27 июля 1944 года отец был легко ранен севернее Выборга в правый глаз и направлен на излечение в госпиталь. В октябре 1944 года отец был выписан из госпиталя и направлен для продолжения службы в «46-ой отдельный учебный дивизион резерва офицерского состава артиллерии». После окончания обучения в апреле 1945 года, отец в звании старшего лейтенанта был назначен «командиром учебного взвода фронтовых курсов младших лейтенантов артиллерии» – в этой должности он прослужил до ноября 1945. После этого и почти до самой демобилизации в мае 1946 года, отец служил сначала командиром артиллерийской батареи 94-го гаубичного артиллерийского полка, а затем зам. командира дивизиона по политической части этого полка.

***

Ранней весной 1945 года мы с мамой Бетти и няней Вассой вернулись в родной Ленинград – мама получила вызов с завода Кинап, позволявший вернуться в Ленинград. После долгой дороги в разболтанном и грязном вагоне мама вывела меня – маленького, бледного и испуганного – на тот же вокзальный перрон, с которого мы уезжали в роковом 1941 году. Мы шли пешком с Московского вокзала по Невскому проспекту к улице Марата. Мне было шесть лет, но я хорошо помню свое первое впечатление от незнакомого города. Огромные темные дома с выбитыми окнами и следами пожаров, выхваченные из темноты неровным, мятущимся светом костров развалины... Я никогда не видел такого огромного и страшного города – он испугал меня. Я понимал, что для меня начинается какая-то новая, непривычная жизнь. У нас нет своего дома в этом городе, наш дом на Тверской улице разбомбили фашисты, но нам нужно как-то жить в этом черном городе… Мы свернули на улицу Марата, где было еще темнее и страшнее, чем на Невском. Наш путь лежал в дом номер 16, где жили жена и дочь рядового солдата Красной Армии Пини Окунева – погибшего под Ленинградом старшего брата моего отца. Эмма Окунева и ее дочь Сара приютили нас – своих бездомных родственников. В 1941 году Эмма не успела эвакуироваться из Ленинграда – все ждала вестей от мужа, ушедшего на фронт добровольцем. Пинхус Окунев на самом деле погиб в первом же бою на подступах к Ленинграду. Он был среди тех тысяч необученных и неумелых солдат, которых растерявшееся начальство спешно бросало под гусеницы немецких танков – ничего другого советское руководство не смогло противопоставить немецким полчищам, рвавшимся к Ленинграду – мощнейшему центру советского танкостроения. Эмма ждала возвращения мужа, все надеялась на чудо, а когда стало ясно, что чуда не будет, было уже поздно – кольцо блокады замкнулось. Так она с дочерью-подростком осталась в эпицентре того кошмарного ленинградского ада, которому не было аналогов в истории человечества. Все два с половиной года блокады Эмма работала на военном заводе – это позволило ей с дочерью выжить. После войны Эмма была женщиной бальзаковского возраста, но мне она казалось очень старой – страшные блокадные годы, гибель мужа, постоянная тревога за жизнь дочери пригнули и состарили ее, а последствия блокадных лишений и дистрофии

быстро добили – Эмма умерла где-то в конце 50-х годов от инсульта еще сравнительно молодой женщиной.

Из оставшихся в блокадном Ленинграде родственников мало кто выжил. Голодной смертью умер мой дедушка Исаак Окунев[7], погибли мамины дяди Максим и Шефтель с семьями, умер от голода маленький Левочка – сын расстрелянного в 1938 году маминого дяди Семена Шмерлинга.

***

В мае 1945 года закончилась Великая Отечественная война, а летом мы с мамой несколько раз ездили на поезде на Карельский перешеек, где располагалась папина воинская часть – фронтовые курсы младших лейтенантов артиллерии. С трех лет я не видел отца и очень смутился, когда он – незнакомый красивый офицер – взял меня на руки. Я не помнил отца – две войны отделяли меня от него и, фактически, я узнал папу, когда мне было уже семь с половиной лет... Я полагал, что мама у меня самая красивая, но отец в офицерской военной форме показался мне сказочно красивым.

Я не знал тогда, что у родителей назревал кризис отношений – они, как я понял впоследствии, были на грани разрыва. Из скупых маминых рассказов со множеством недомолвок следовало, что у отца случился военно-полевой роман с женщиной много моложе его... Как развивались события – не знаю, и никаких последствий этих событий не припомню... Возможно, возвращение мамы во всем блеске ее зрелой красоты круто изменило положение, а может быть, и мое появление у отца вернуло все на круги своя...

Папа демобилизовался в возрасте 37 лет, точно в день рождения мамы 30 мая 1946 года, когда ей исполнилось 35 лет. Семь лет своей жизни – с сентября 1939 года до мая 1946 года – он провел на двух войнах и военной службе. Слава богу, выжил, а в сухом остатке – профессии артиллериста и политработника. После папиного возвращения, летом 1946 года мы переехали в дом номер 84 по улице Марата, на углу со Звенигородской улицей. В коммунальной квартире номер 9 этого дома прошли остаток моего детства, годы отрочества и юности – здесь я закончил среднюю школу и здесь получил диплом инженера. По нынешним представлениям о достойной жизни человека эта квартира находилась значительно ниже допустимой планки, а послевоенный нищенский быт рядовых ленинградцев кажется нынешнему поколению ирреальной антиутопией – в это трудно поверить, это за пределами добра и зла. Тем не менее так жило громадное большинство населения Советского Союза вплоть до конца 50-х, когда партийная элита решила строить квартиры не только для себя, но и для людей. Все, однако, относительно в этом мире – в те годы после опустошительной войны, на развалинах городов и пепелищах деревень, люди, изнуренные страданиями, страхом и голодом, были счастливы иметь любую крышу над головой, были рады, что у них есть своя комнатка с окном, где тепло и неголодно.

[7] См. очерк «Смерть велижского резника» в книге «Письма близким из XX века».

Бетти и Бенцион, Ленинград,
май 1945 года –
ПОБЕДА!

***

Год 1946-й был в жизни Бетти непомерно тяжелым – два очень близких и любимых человека – брат Марк и отец Исай – один за другим, как бы в связке, ушли из жизни, и известия об их смерти пришли к ней в течение двух недель страшного апреля того года. Вот как разворачивалась эта трагическая история.

От Марка, служившего старшим лейтенантом в авиачасти близ Хабаровска, с конца сентября 1945 года не было писем, и все волновались, не случилось ли что. 3-го апреля 1946 года сестра Бетти Дуся получила в Новогиреево под Москвой письмо из Хабаровска с сообщением, что Марк Шмерлинг покончил с собой выстрелом в висок в своей комнате утром 12 октября 1945 года. 11-го апреля она письмом сообщила об этом Бетти в Ленинград (домашних телефонов тогда, конечно, не было, письма и телеграммы были единственным средством связи). Для Бетти это был страшный удар, от которого она, на самом деле, никогда в своей жизни до конца не оправилась. Случилось нечто невероятное, необъяснимое, невозможное, недопустимое и неприемлемое – не оставив никакого объяснения, убил себя любимый младший брат, очень талантливый и перспективный в науке молодой человек, единственная надежда семьи на продолжение рода Шмерлингов... Бетти ответила сестре 18 апреля – на следующий день после получения страшного известия, ответила стоном и беззвучным плачем, облеченным в письменную форму. Вот выдержки из него:

«Это все! Теперь уже не обманешь себя ничем...

Вскрыла конверт с дорогим твоим почерком и вдруг – “вдвоем мы остались с тобой, сестричка...” Читать дальше? Нет! Дальше не могу, не нужно, страшно..., письмо выпало из рук. Почему такие испуганные глаза у Юрика? Почему Боря так сильно сжимает руку? Это было вчера – я навеки запомню этот день...

Дусенька, но как в тот утренний час он не подумал о своей сестре – о тебе, и как в тот миг не опустилась его рука? Милый, родной мой братишка, что с тобой было? Нет, это что-то более жестокое, неумолимое. Я верю в тебя, в твое благородство. Наверное, другого пути не было. Я целую тебя, Марка, мой Марка!

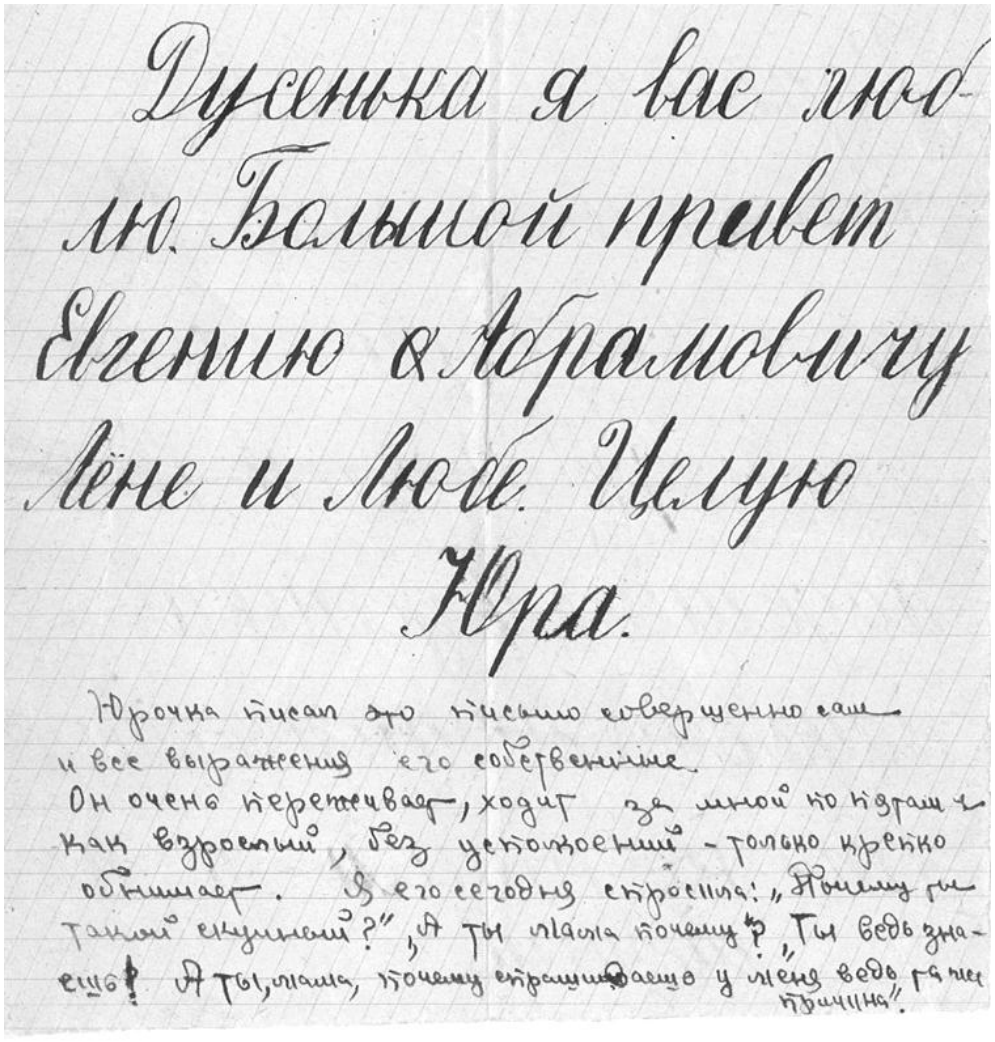
И ни одного слова нам. Дускенька, мне кажется, что письмо тебе он оставил. Может быть оно не дошло, может быть, его умышленно не отослали потому что в нем и была правда. Но если он ничего не оставил, то не потому, что не подумал о нас в эту минуту – этого не может быть. Может быть, он решил, что так нам будет легче... Папе не надо говорить сразу, потом видно будет, но истину он никогда не должен знать...

Я кончаю, Дусенька, сегодня больше не могу писать... Твоя Бетти.»

И вслед за плачем, в P.S., яростная вспышка маминого глубинного, ключевого – не сдаваться, не принимать сущее за должное, вырваться из этого мира, «прищурить глаза» и уйти в другой мир, где все не так пошло и жестоко, где «в дальнем синем море бригантина поднимает паруса»:

«P.S. Сегодня целый день в мозгу сверлит мысль: родить сына, назвать его Марком и дать свою фамилию.»

Мое письмо из Лениграда в Новогиреево с припиской Бетти. Апрель 1946.


Дусенька я вас люб-
лю. Большой привет
Евгению Абрамовичу
Лене и Люде. Целую
Юра.

Юрочка писал это письмо совершенно сам
и все выражения его собственные.
Он очень переживает, ходит за мной по пятам и
как взрослый, без успокоений - только крепко
обнимает. Я его сегодня спросила: „Почему ты
такой скупимый?" „А ты мама почему?" „Ты ведь зна-
ешь! А ты, мама, почему спрашиваешь у меня ведь тайн
причина".

Мамино горе разделяли все в доме. Я был в то время учеником 1-го класса и не помню, как она объяснила мне случившееся, но сохранилось мое письмо Дусе в Новогиреево в связи со смертью Марка, отражающее настроение в нашем доме. Я привожу часть этого письма с маминой припиской.

Едва Бетти оправилась от удара, как в конце того же апреля 1946-го последовал новый – скоропостижно скончался ее отец Исай. Он вернулся в Новогиреево из сорочинской эвакуации и первым делом спросил, есть ли письма от Марка, тайно надеясь, что письма от сына в Сорочинск могли не дойти. Ему сказали, как и советовала Бетти, что писем нет, но Исая трудно было обмануть – он хорошо знал повадки этой власти, и он хорошо знал своего сына. Исай внимательно посмотрел на своих близких, всё в уме разложил по полочкам и понял главное – сына нет в живых. Исаю было всего лишь 67 лет, но жизнь окончательно потеряла для него какой либо смысл. Ночью у него случился инсульт, а к утру он скончался...

***

Наш домашний быт того времени регламентировался общей послевоенной разрухой и очень скромной зарплатой родителей. «*Мир вырастал из войны – нищий, бедный, почти такой же трудный, как война*» – так заканчивается роман Василия Гроссмана о Великой отечественной войне «*Жизнь и судьба*». В декабре 1947 года была отменена карточная система на продовольственные и промышленные товары: на хлеб, крупы, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия и многое другое. Эта система существовала более 6 лет с 1941 года. Теперь можно было покупать все продукты и товары без ограничения – конечно, из весьма скудного советского ассортимента.

После войны Бетти продолжала работать на заводе «Кинап», вошедшем впоследствии в гигантское Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО). В те годы она была сначала начальником электро-монтажного участка в цехе звуко-записывающей аппаратуры, а затем – старшим контрольным мастером в акустическом цехе. Как-то, много лет спустя, встретил я в Бостоне пожилую женщину – Цилю Башину; как оказалось, она работала с мамой на «Кинапе». Я был счастлив услышать о маме слова живого очевидца из далекого прошлого:

«Бетти была специалистом высокого уровня, главный инженер завода Брусиловский очень ценил ее. На ее участке монтировались кинопроекторы, оборудование для студий – там требовалась особая тщательность работы. Помню ее стол в углу цеха, а вокруг рабочие и техники с вопросами...»

Маму уважали и любили и рабочие, и техники, и коллеги-инженеры. Она была каким-то притягательным центром и в работе, и на отдыхе. Яркая, веселая, энергичная, искрометно изобретательная, Бетти Исаевна Шмерлинг была в центре всех праздников, застолий, торжеств –

«Выпьем за **Бетти**, за рот смеющейся **Бетти,** а **Бетти** пускай **нам нальет...** Налей! Выпьем, ей Богу, еще. **Бетти, нам грогу! С**такан последний в дорогу. Бездельник – кто с нами не пьет».

Мама обладала абсолютным слухом, могла сходу сыграть на пианино любую мелодию, она сочиняла чудные лирические стихи, а в жанре поздравительного приветствия, тоста или шаржа в стихотворной форме ей, кажется, не было равных...

Папа после войны остался без специальности. Лучшие 10 лет жизни прошли на войнах и подготовке к ним, профессия артиллериста была ненужной, серьезные навыки политработы оказались невостребованными – наступало время вытеснения евреев из политико-пропагандистской сферы. Учиться было поздновато по меркам того времени, да, к тому же, нужно было содержать семью... В итоге отец устроился старшим инспектором в Северо-западное Управление государственных материальных резервов. Он мотался по командировкам в Карело-Финской ССР, в Архангельской и Мурманской областях, питался в командировках тем, что брал из дома, минимально тратил свои командировочные, и эти небольшие деньги служили серьезным подспорьем в семейном бюджете, что свидетельствует, какими мизерными были тогда зарплаты родителей. Еще отец всегда привозил с севера засоленную или вяленую рыбу, и мы ею кормились от командировки до командировки.

Бетти в расцвете своей зрелой женской красоты. Ленинград, 1950-е годы.

Впрочем, питались мы в те годы неплохо, но на это уходила почти вся зарплата родителей. Небольшие суммы откладывались на летний отдых, а каждая покупка новой одежды или обуви была серьезным ударом по бюджету и, поэтому, заранее и тщательно планировалась.

Вспоминаются наши праздничные семейные застолья на улице Марата – регулярно отмечались Международный день трудящихся 1 мая, день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, Международный женский день 8 марта, день рождения мамы 30 мая, Новый год и мой день рождения 31 декабря. День рождения папы 19 августа отмечался редко из-за отпускного времени.

Собирались у нас все ленинградские родственники и мамины приятельницы по «Кинапу» Ася Певзнер и Рая Позина, человек 25, как минимум. Приносили

дополнительный стол, стулья и табуретки от соседей, тесно и весело устраивались вокруг общего импровизированного стола. К столу подавались твердокопченая колбаска, винегрет, фаршированная рыба, форшмак, соленые огурчики и капуста, привезенный папой из командировки палтус, горячая картошка, традиционный холодец из говяжьих ножек и, конечно, пироги к чаю. Пили водку, советскую бормотуху под названием «Портвейн», дешевое грузинское сухое вино, полусладкий кагор, а на Новый год – даже Советское шампанское. В роли прохладительных напитков выступали квас или «гриб» – кисловатый напиток собственного производства из так называемого «чайного гриба». Соков тогда и в помине не было, а овощи и фрукты считались в Ленинграде большим дефицитом и редко появлялись на столе. Особенно торжественно отмечали в нашей семье Новый год и одновременно мой день рождения. Пожалуй, в моем детстве не было ничего лучшего, ничего более доброго и светлого, чем те Новогодние семейные праздники вместе с мамой и папой в квартире номер 9 дома 84 по улице Марата! Слезы тихой и нежной грусти застилают глаза, когда я вспоминаю эти праздники и маму с папой – молодых, красивых...

Бетти – инженер завода «Кинап», Ленинград, конец 1940-х – начало 1950-х

***

Когда мои внуки смотрят роскошные цветные телефильмы на огромном, в полстены, плоском экране, я вспоминаю телевизор своего отрочества и юности – первый массовый советский телевизор, знаменитый КВН-49 на электронных лампах. В здоровенном ящике с полметра длиной и весом 29 килограмм был малюсенький экранчик размером 105х140 миллиметров, на котором мелькала черно-белая картинка. Рассмотреть

что-либо на том экранчике было очень трудно, поэтому перед ним устанавливалась увеличительная линза – выпуклый стеклянный сосуд, заполнявшийся через отверстие водой. С линзой, если сесть рядом, вполне можно было рассмотреть происходящее на экранчике. Впрочем, это сейчас легко подшучивать над КВН-49, а тогда, сразу после войны, он был выдающимся техническим достижением, воистину «народным телевизором». Не помню, когда родители купили КВН-49, но точно помню, что мы смотрели по телевизору трансляцию XIX съезда КПСС в октябре 1952 года. Это был первый съезд Компартии, показанный по телевидению, и соседи приходили посмотреть на Сталина и других вождей. Когда в последний день съезда Сталин поднялся на трибуну, в зале началась профессионально поставленная истерика, по сравнению с которой буйство фанатов поп-звёзд напоминает убогую самодеятельность. С «просветленными» лицами, залитыми натуральными слезами, заходясь от крика, делегаты тянули свои хлопающие ладони по направлению к божеству. Мы все, у телевизоров и репродукторов, были счастливы своей причастностью к беспримерному событию – живой, обращенной к нам речи живого божества. Слава богу, это было последнее выступление изверга.

Заканчивалось зловещее пятилетие советской истории: 1948–1953 годы, – агонирующий сталинский режим требовал все новой и новой крови для смазки механизма тирании. В 1952 году сразу после кровавого Ленинградского дела и расстрела членов Еврейского антифашистского комитета началась фабрикация «Дела врачей» – массовые аресты ведущих врачей, в основном – евреев, по всей стране, истязания и пытки арестованных в застенках МГБ. В январе 1953 года в газете «Правда» было опубликовано сообщение ТАСС «*Арест группы врачей-вредителей*», начались всенародная истерическая кампания с требованиями самой жестокой казни «убийц в белых халатах», разнузданная антиизраильская пропаганда, подготовка населения СССР к еврейским погромам... Слухи о скорой депортации всех евреев в Сибирь расползались по стране...

Мои родители пытались отстраниться от этого нараставшего потока злобы, пытались заслонить собой хотя бы своего сына. Они искренне верили в интернационал, безоговорочно приняли идею ассимиляции евреев, как норму своей жизни, полностью исключили из моего детства не только любые элементы иудаизма и еврейской культуры, но даже упоминание о еврействе. Не имею права винить их за это, просто констатирую факт, последствия которого были ужасны – едва я, выйдя из скорлупы раннего детства, начал осознавать свою национальную отверженность, а это было неизбежно в стране победившего национал-большевизма, стрелы юдофобства беспощадно вонзились в еще крохотную, незащищенную душу, а слово «жид» разрывной пулей искорежило сердце.

Можно ли сказать, что ассимилированные родители еврейских детей – соучастники этого преступления режима? Трудный, невыносимо тяжелый вопрос – ведь наши родители тоже были в растерянности от свалившейся непонятно откуда юдофобщины, от вопроса без ответа «Чем мы провинились?»

Бетти тоже не могла понять, чем она провинилась, когда узнала о своем увольнении с завода Кинап «по сокращению штатов». Она рассказывала мне впоследствии, что рабочие ее цеха писали в партком и администрацию письма с просьбой не увольнять инженера Шмерлинг Б.И., но, очевидно, в 1953 году существовал циркуляр с рекомендацией – по возможности освобождаться от евреев во всех сферах. Этот циркуляр исполнялся партийно-административными руководителями на местах в меру их, как говорят, «испорченности» – руководство завода Кинап того времени, по-видимому, не желало «уклоняться от генеральной линии партии» ни на йоту. К счастью, находились

руководители, которые в интересах дела смотрели свозь пальцы на указания сверху, не имевшие обязательного характера. К тому же, после признания Дела врачей от начала и до конца сфальсифицированным, в еврейском вопросе в СССР наступила кратковременная «разрядка напряженности» – в 1954 году маму приняли на работу во Всесоюзный НИИ радиовещательного приема и акустики (ВНИИРПА им. А.С. Попова).

***

Бетти проработала во ВНИИРПА до пенсии, т.е. до конца 1960-х годов. Институт располагался в прелестном месте – на Каменном острове, образованном разливами рек Большая, Средняя и Малая Невки, недалеко от исторического Дуба Петра Великого, но добираться ежедневно до этого чудного места было мучительно трудно. От дома на улице Марата мама добиралась до работы с несколькими пересадками на трамвае и автобусе. Когда мы переехали в новую квартиру на Новоизмайловском проспекте в Московском районе, дорога на работу стала занимать у нее еще больше времени – нужно было ехать через весь город сначала на автобусе, потом на метро, и затем снова на автобусе.

Годы работы во ВНИИРПА были временем расцвета всех маминых талантов. Она участвовала в разработке, настройке и вводе в эксплуатацию аппаратуры для советских телецентров, в создании новой звукоаппаратуры для правительственных учреждений, стала профессионалом высокого класса. Кроме того, мама скоро завоевала репутацию лучшего стихотворца института – без ее спичей и юбилейных поздравлений в стихах, кажется, не обходилось ни одно общественное торжество в институте. Дело доходило до того, что по распоряжению дирекции ее освобождали от текущей производственной нагрузки с тем, чтобы она сочинила поздравление к юбилею какого-нибудь заслуженного работника института.

Бетти не придавала значения своим поздравительным виршам и, к сожалению, не сохраняла их. Ее произведения можно, вероятно, отнести в тому многоплановому творчеству, которое по-книжному называют версификацией. Помню, что ее стихи отличались легкостью, живостью и мягким юмором. Как пример, привожу случайно сохранившийся отрывок из маминой поэмы, которую она сочинила к пятидесятилетию свадьбы своей сестры Дуси и ее мужа Жени:

В работе были словно маги
И если подвести итог –
Как эти двое, работяги,
Никто так вкалывать не мог.

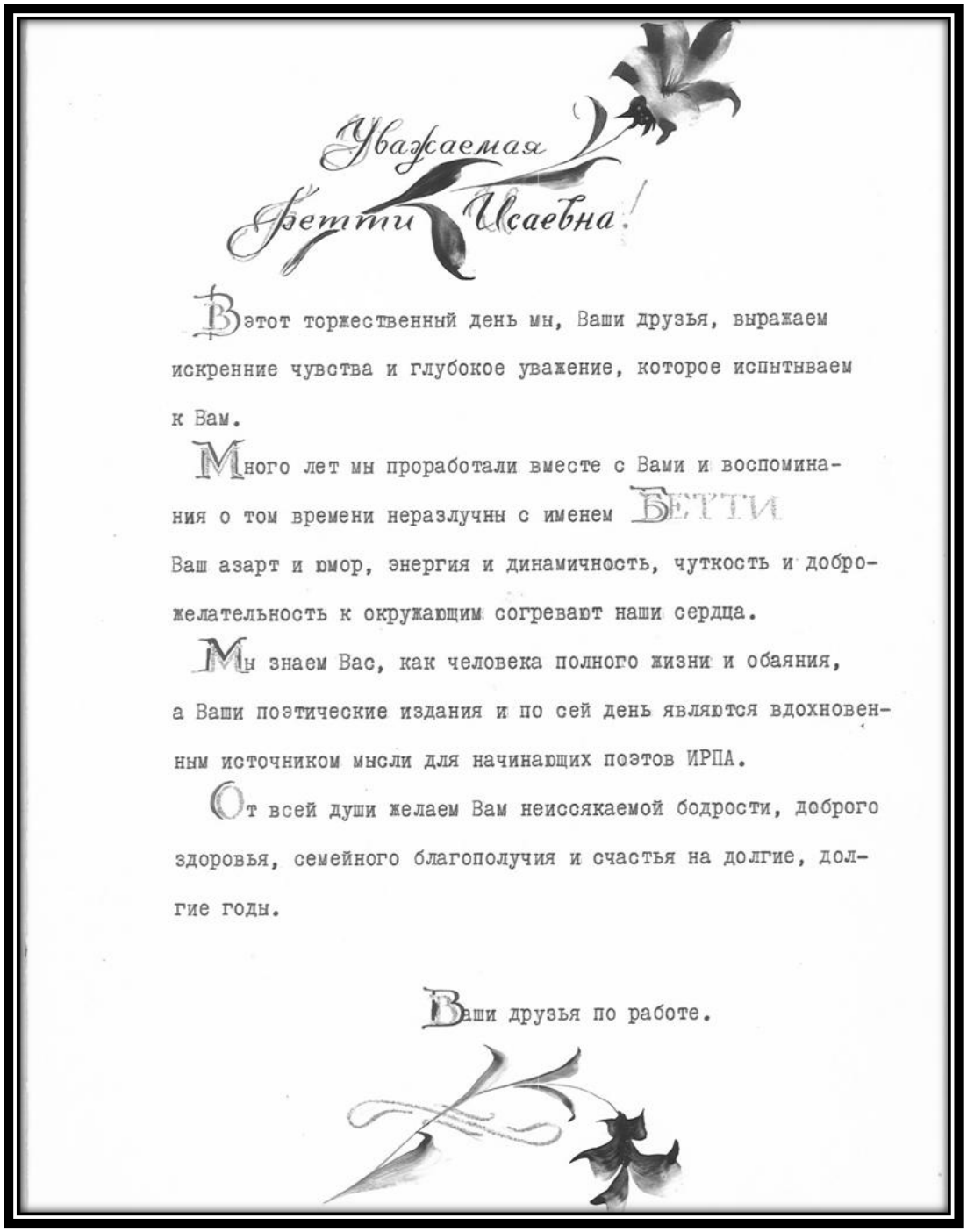
Учила Дуся половину
Всех, кто физматом стать хотел,
А Женя взял себе на спину
Весь груз мясо-молочных дел.

Едва лишь Дуся, наша радость,
На пенсион от дел ушла,
Пропала в мире счета сладость,
И мода на обсчет пошла.

Как только Женя наш прекрасный

Обрел заслуженный покой,
Померк ветчин оттенок красный
И плохо стало с колбасой.
.....
А юбиляры золотые
Полны душевной красоты.
Они совсем, как молодые,
Друг к другу нежности полны
И ночью, лишены коварства,
Друг другу подают лекарства...

Как и на заводе Кинап, Бетти была всеобщей любимицей в ИРПА. Сохранилось коллективное поздравление к ее 50-летию. В этом поздравлении наряду со стандартными фразами содержится очень точная оценка достоинств и черт характера юбиляра – «азарт и юмор, энергия и динамичность, чуткость и доброжелательность к окружающим». Авторы с необыкновенной для официальных поздравлений теплотой отмечали, что «воспоминания о том времени неразлучны с именем БЕТТИ».



Уважаемая Бетти Исаевна!

В этот торжественный день мы, Ваши друзья, выражаем искренние чувства и глубокое уважение, которое испытываем к Вам.

Много лет мы проработали вместе с Вами и воспоминания о том времени неразлучны с именем БЕТТИ

Ваш азарт и юмор, энергия и динамичность, чуткость и доброжелательность к окружающим согревают наши сердца.

Мы знаем Вас, как человека полного жизни и обаяния, а Ваши поэтические издания и по сей день являются вдохновенным источником мысли для начинающих поэтов ИРПА.

От всей души желаем Вам неиссякаемой бодрости, доброго здоровья, семейного благополучия и счастья на долгие, долгие годы.

Ваши друзья по работе.

Исторические фотографии:
так выглядели и так одевались советские трудящиеся той эпохи.
Вверху – завод «Кинап», Ленинград, конец 1940-х годов
(почти все – мужчины, Бетти – вторая слева в 3-м ряду);
Внизу – ВНИИРПА, Ленинград, конец 1950-х годов
(все – женщины, и все – в мехах, Бетти – вторая справа во 2-м ряду).

***

Мы жили в коммунальной квартире на улице Марата до 1961 года. В ней ничего не менялось, лишь в конце 1950-х в общем корридоре установили квартирный телефон. Мама работала во ВНИИРПА, папа перешел работать из Госрезервов на одну из больших ленинградских электростанций в качестве редактора заводской газеты, я закончил среднюю школу, а затем Ленинградский электротехнический институт им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Все эти годы с нами жила Василиса Павловна Терешкова, моя бывшая няня, которая стала, на самом деле, членом нашей семьи. Характер у нее к старости совсем испортился, да и новые приятельницы из окрестных домработниц подзуживали ее – ты, мол, не будь дурой, требуй, чтобы хозяева официально отписали тебе часть жилплощади. Василиса все чаще выражала недовольство своим статусом, выступала с требованиями, которые родители физически не могли выполнить. Напряжение в доме нарастало и, в конце концов, обернулось скандалом, когда Васса пошла на прямой шантаж. Дело в том, что у отца еще с военных времен хранился подаренный ему трофейный пистолет; он очень дорожил им, как пямятью о своих боевых друзьях. Васса каким-то образом узнала об этом и пригрозила донести о пистолете «куда следует», если родители не выполнят всех ее требований. Невеликого ума женщина, а всем советским опытом была научена, как поддеть неуступчивых – за незаконное хранение оружия полагалось тяжелейшее наказание. На следующее утро после Вассихиного ультиматума, мама потихоньку от всех засунула пистолет в свою дамскую сумочку и по дороге на работу незаметно выбросила его в пустынном месте в один из протоков Невы. После неудачи жантажа, Васса несколько приутихла, но добрые чувства к ней, принесенные еще со времен войны и эвакуации, конечно, не восстановились. Васса потом перенесла свою активность в официальные органы – рассказывали, что она с утра приходила в местный райисполком, садилась в приемной какого-нибудь начальника и начинала плакать, постепенно к ней привыкли, а затем и дали крохотную комнатку в другой коммунальной квартире. Впоследствии, когда мы получили свою отдельную квартирку в Московском районе, никакие связи с Вассой уже не поддерживались – как будто и не было 20-ти лет совместной жизни, как-будто и не было перенесенных вместе горестей и страданий... Васса никогда потом не интересовалась моей судьбой, словно и не существовало ее многолетней преданнейшей заботы о «мальце». Я как-то вяло пытался ее разыскать – ведь няней моей была Василиса, но так и не нашел, и даже не знаю, когда она скончалась. Корил себя потом за бессердечие и отсутствие милосердия, которое, впрочем, было тогда едва ли не ругательным понятием...

***

В 1960-м году наш дом на Марата 84 поставили на капитальный ремонт, ибо его лестницы и перекрытия вот-вот могли обвалиться. Нас сначала переселили во временное жилье где-то в районе Лиговского проспекта, а потом, в 1961-м году, дали двухкомнатную квартиру в хрущевской пятиэтажке на Краснопутиловской улице в новостройках Московского района, как говорят, у черта на куличках. Маме в то время исполнилось 50 лет, она впервые со времен юности в Витебске, стала жить в своей отдельной квартире со своей кухней, со своей крошечной ванной и со своим собственным туалетом. Если

вспомнить, что уехала она в Ленинград из Витебска в 1929-м году, то нетрудно посчитать – потребовалось 32 года, чтобы обустроить мало-мальски пристойно свой быт!

Наша квартира на Краснопутиловской улице называлась «двухкомнатной распашонкой», потому что состояла из двух маленьких смежных комнат, разделенных раздвижной полустеклянной дверью. Я со своим письменным столом, за которым написал кандидатскую диссертацию и первые технические статьи, располагался в крайней, непроходной комнатке. Из нее была выгорожена кладовка, в которой я устроил фотолабораторию. Родители спали в смежной, проходной комнате, которая совмещала спальню и столовую. В квартире была еще крошечная прихожая с вешалкой для пальто, ванная комнатка, туалет и 5-метровая кухня с газовой плитой. Квартира располагалась на первом этаже, а ее общая площадь составляла где-то 35–40 кв. метров. Мы были счастливы – наконец-то можно мыться каждый день в своей собственной ванне, теперь не нужно ходить по воскресеньям в коммунальную баню, толкаться с соседями на общей кухне, наконец-то, можно попасть в туалет без очереди! А сколько дневного света, от которого мы уже давно отвыкли, проникает в нашу новую квартиру – спасибо родной Коммунистической партии и лично товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву! Мы были воистину счастливы... До города, конечно, добираться нелегко – сначала пешком до Новоизмайловского проспекта, потом на автобусе до Парка Победы, а там уж на метро куда угодно, но... к длинной дороге скоро привыкаешь, а собственная ванна – это фундаментально...

Родители прожили в этой «распашонке» десять лет. Как быстро бежало время. Вскоре после переезда на Краснопутиловскую я женился на Светлане, с которой познакомился в Москве, у нас родилась дочка Ирочка, мы купили двухкомнатную кооперативную квартиру на проспекте Космонавтов, а в 1972 году обменяли две квартиры, родительскую и свою, на четырехкомнатную квартиру в центре города, недалеко от Смольного, в доме 61 по Суворовскому проспекту, угол улицы Салтыкова-Щедрина.

Бетти с сыном, 1960-е годы

***

Ко времени переезда всей семьи на Суворовский проспект Бетти и Боря были уже на пенсии. В 1973 году у них к внучке Ирочке прибавился внук Сенечка.

Рождение внука было, вероятно, последним счастливым событием в жизни дедушки Бори. Он все чаще болел, лежал (затрудняюсь сказать – лечился) в отвратительных коридорах и палатах ужасных ленинградских больниц. У него была легочно-сердечная недостаточность – на болезнь сердца наложилась застарелое ранение легкого. Летом 1975 года мы со Светланой проводили отпуск в Болгарии у моего аспиранта Христо Дечева. Ничего, казалось, не предвещало несчастья, но вдруг пришла телеграмма из Ленинграда: «Папа скончался», мы срочно вернулись в Ленинград – на мою долю осталось захоронить урну с прахом отца. В день похорон в конторе Охтинского кладбища мне сказали, что копальщики могил придут не ранее чем через два часа. «Дайте лопату» – потребовал я. Мой вид, вероятно, не вызывал желания возражать – мне дали лопату. В полном одиночестве копал я могилу своему отцу – ему было всего 66 лет. Слезы застилали мне глаза – он умер, не видя единственного сына рядом с собой, не имея возможности задержать руку сына в своей холодеющей руке. Не приведи, Господь, мне такую смерть. Когда пришли немногочисленные родственники и друзья, когда привели маму, свежий холмик возвышался над прахом отца. Я сидел на земле рядом – у меня уже не было больше слез.

Бетти с внучкой, Ленинград, 1965

Бетти в 1980-е годы

После смерти мужа Бетти все больше вовлекалась в жизнь внуков, в их учебные, а затем и личные дела. Главный пункт ее воспитательной программы был прост – внукам не следует читать нотации, им нужно помогать. В 70-е и 80-е годы она, кажется, два раза прошла полный курс советской средней школы – сначала с Ирочкой, потом – с Сенечкой. К тому же, она прошла с внучкой и курс музыкальной школы – ведь у нее был редкий абсолютный слух. Особенно тесные «производственные» отношения установились у Бетти с внуком. Сеня подчас вообще не обременял себя заботами о домашних заданиях – передавал их бабушке, она все выполняла, и ему оставалось только переписать результаты в свою тетрадь. У них было секретное место, в которое он помещал задание и из которого потом брал ответ для переписывания – на платяном шкафу в бабушкиной комнате. Когда я однажды засек эту деятельность, Бетти не выдала внука, а утверждала с невинным видом, что ей «просто интересно, какие задачи по математике дают сейчас в школе». Став взрослыми, Ира и Сеня с большой теплотой вспоминают о бабушке, которая помогала им учиться в школе.

Сохранилось очень мало фотографий Бетти с внуками. Она вообще в старости не любила фотографироваться, и среди десятков ее послевоенных фотографий я с трудом нашел маму в пенсионном возрасте.

Бетти с невесткой и внуком, Ленинград, начало 1990-х

****

В 1980-е годы советский мир быстро менялся, происходили события, о которых прежде и помыслить было невозможно – бесславный конец маразматического правления «кремлевских старцев», горбачевская перестройка, скромные ростки гласности, почти настоящие выборы в Верховный Совет, прекращение войны в Афганистане, открытые призывы лишить Компартию ее монополии на власть, зачатки свободного предпринимательства, нарастающая эмиграция евреев в Израиль, США, Германию, Австралию... Все эти события и движения сопровождались ухудшением и без того тягостного экономического положения страны, нарастанием дефицита прдуктов и товаров – плановая экономика с регулируемыми государством ценами входила в пртиворечие с

интересами производителей, с зачатками свободного рынка. В конце концов, была снова введена карточная система – талоны на основные продукты питания и на спиртные напитки.

Бетти, наученная печальным опытом своей советской жизни, выкупала все, что было возможно получить по талонам – все шкафы на кухне были забиты пакетами с мукой и крупами, на полках стояли бутылки с водкой... Вообще, те годы были сложными для Бетти и людей ее поколения, она жила в ожидании катастрофы, ее пугала еврейская эмиграция из страны, и даже во внезапно открывшейся возможности поездок заграницу было что-то тревожное...

В 1988 году внучка Бетти Ирочка вышла замуж за врача Сашу Шифрина и уехала с ним по израильской визе сначала в Италию, а затем в США. В 1989 году внук Бетти Сенечка в составе делегации советских школьников поехал в США на Гавайи. Мир ее семьи стремительно расширялся... В 1991 году казавшийся незыблемым Советский Союз развалился, а правившая им 70 лет Коммунистическая партия была распущена и запрещена. Российская демократия пришла в нищенском обличьи – с прилавков магазинов исчезли последние продукты. Вместе с российской свободой пришли российские фашисты из общества «Память», в Ленинграде распространялись слухи о грядущих еврейских погромах...

***

Год 1992-ой был тяжелым предотъездным годом. Мама наконец дала согласие на эмиграцию в США, она уже 4 года не видела свою внучку Ирочку, очень скучала по ней – это было одним из стимулов ее решения. Летом того года мы всей семьей поехали на несколько дней в Москву, чтобы пройти необходимые формальности для получения документов на въезд в США. Мама чувствовала себя прекрасно, сшила к поездке новое яркое цветастое платье, покрасилась, навела косметический марафет...

Запомнился наш визит в медицинский офис, который давал справку о состоянии здоровья перед интервью в Американском посольстве. Я счел необходимым предупредить врача, сравнительно молодую женщину, что вслед за мной к ней в кабинет войдет моя мама, которой уже 81 год. Врач с пониманием посмотрела на меня, спросила, не нужна ли помощь, чтобы привести маму в кабинет... Я вышел, кивнул маме на дверь, и она вошла к врачу. Как только за ней закрылась дверь, из кабинета раздались громкие возгласы и гомерический хохот. Смущенный этими звуками, я вошел без спроса – врач и мама стояли друг напротив друга и громко смеялись. «После вашего предупреждения – разъяснила мне доктор – я ожидала увидеть дряхлую старуху с палочкой, а на самом деле в кабинет буквально впорхнула молодая женщина...» Медицинское обследование не обнаружило у мамы никаких серьезных болезней... Она вернулась в Ленинград в хорошем настроении, с ожиданием добрых перемен, с надеждой на скорую встречу с внучкой – мы заказали билеты на самолет Аэрофлота Ленинград–Нью-Йорк на 27 февраля 1993 года.

В сентябре я уехал с приятелем на 2 недели в мой любимый санаторий им. Орджоникидзе в Кисловодске – последний отпуск перед отъездом в Америку. Из Кисловодска звонил несколько раз по телефону домой, обратил внимание, что мама ни разу не подошла к телефону, но счел это случайностью. Вернувшись домой, узнал страшную правду – мама лежит в Максимиллиановской больнице с отеком легкого, вызванным неоперабельными раковыми метастазами. В легких скапливалась жидкость, мама задыхалась, ей откачивали жидкость, приходило временное облегчение, потом все повторялось сначала... Во время одного из просветлений мы забрали маму домой.

Состояние было: лучше – хуже, чуть чуть лучше – значительно хуже, потом снова получше... Мама вела себя очень мужественно, старалась поменьше беспокоить всех, в минуты облегчения успокаивала нас, что, мол, к отъезду поправится, даже в тяжелые минуты ухудшения пыталась улыбнуться, но глаза были очень грустные – все меньше верила в выздоровление, как бы извинялась, что подводит нас с отъездом... Мы, конечно, скрывали от нее смертельный диагноз. Когда ей становилось совсем плохо, приходил доктор и откачивал из легкого жидкость – так продолжалось весь октябрь и ноябрь, но в декабре стало совсем плохо, мы не справлялись, и пришлось положить маму в реанимационное отделение Мечниковской больницы.

Новый год и мой день рождения впервые за много лет отмечали без мамы, пришло много друзей, приехали родственники из Москвы, было шумно, тревожно, грустно – последние Новогодние праздники в России.

Шестого января вечером я был в палате у мамы, она лежала в окружении каких-то аппаратов, не вставала, чувствовала себя средне-скверно, но разговаривала нормально – голова работала, как всегда, отлично. Говорили о моих делах на работе, о доме, избегали говорить об отъезде, я уже знал от врача, что дни ее сочтены... Иди домой, сынок, отдохни – сказала мама. Я ушел, твердо пообещав прийти завтра. Ночью она скончалась...

Перед панихидой меня оставили с мамой наедине, я гладил ее чистое лицо и когда-то роскошные густые черные, а теперь совсем седые волосы – за моей спиной сгустилась пустота, холодная пустота из бездонного колодца вечности...

Через полтора месяца мы улетели в Нью-Йорк, мама навсегда осталась на Охтинском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ирочка с Сашей встречали нас в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Увидев всех, она не сдержала слез: «Не довезли вы бабушку!»...

Май 2011, Long Island, New York